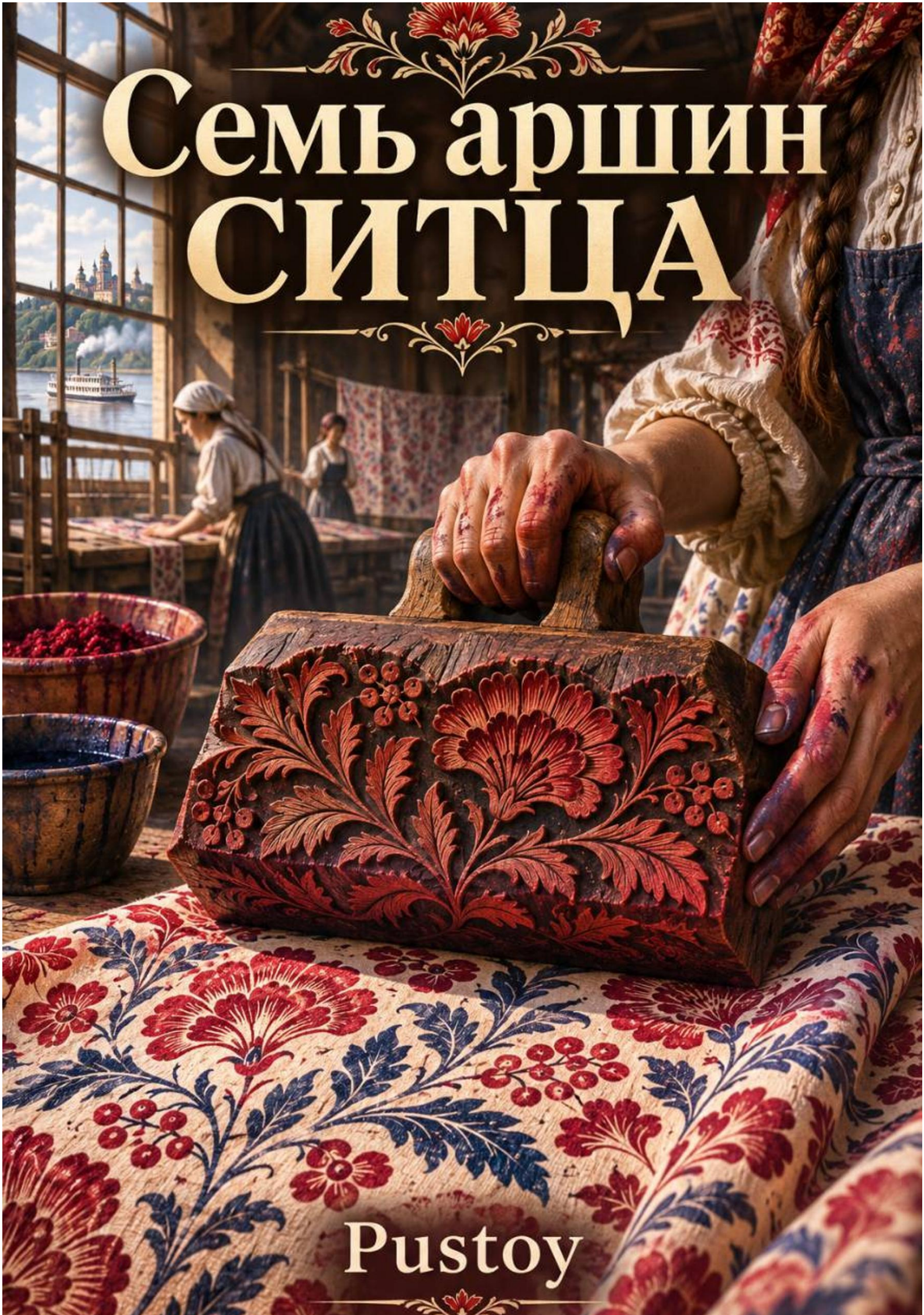

Семь аршин
ситца
Pustoy

Pustoy

Семь аршин ситца

«Автор»
2026

Pustoy

Семь аршин ситца / Pustoy — «Автор», 2026

Лето 1876 года. В приволжском Ключевце умирает владелица красильни Марфа Горбунова. Родным детям она оставила дом у пристани, а племяннице Евдокии, которая умеет вырезать на деревянной доске тончайшее птичье крыло, — старую доску и семь аршин пёстрого ситца. Если продать берег соседнему фабриканту, наследники смогут выплатить долги и начать собственную жизнь. А куда пойдут женщины, которые за этими столами проработали двадцать лет?Разворачивая отрез, Евдокия узнаёт руки семерых мастериц. Каждая когда-то вложила в общее дело свои заработанные деньги, и у каждой семьи теперь своя нужда. До первого льда Евдокии предстоит отыскать забытые счета, научиться назначать цену собственным рисункам и решить, о чём стоит попросить человека, который всякий раз возвращается к её дому по большой воде.Текст романа и иллюстрация обложки созданы с помощью искусственного интеллекта.

© Pustoy, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Белая кромка 6
Глава 2. Узел на мокрой дороге 10
Глава 3. Опись с занозой 15
Глава 4. Квартира над сараем 19
Глава 5. Семь аршин 23
Глава 6. Платье цвета черёмухи 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Pustoy
Семь аршин ситца

Pustoy
Семь аршин ситца

Глава 1. Белая кромка

В июне 1876 года смерть Марфы Васильевны в Ключевце сперва заметили по простыне.

Ещё утром она велела вывесить на галерею кусок белёного миткаля. Длина шесть аршин, седьмой — на руку, чтобы по дороге в мокрых пальцах не потерять. Синий у их набойщиков в этом году выходил лёгкий, с переливом, не поймёшь при свете, насколько честно покрашено. И к шести часам, пока уедет купец Ражев из трактирного угла, хотела она успеть из этого миткаля сделать ему такую пробу, чтобы у того к пятке ушёл его всегдашний торг. Скажите теперь, что цвет судят по цене! Она послала девчонку, потом сама встала — лежать не любила — и подошла к окну.

Простыню-то девчонка повесила. А вот снять, пока утренняя прохлада держится и на полотне не выступили рыжие пятнышки от сушильной верёвки, было по сей раз Домне не велено.

Старая красильня стояла к реке лицом. Из двенадцати окон, в которых до пожара жили сельди, — мужа у покойной хозяйки называли селёдочником, он склад держал, — вода виднелась только в четырёх. Остальные упирались в берег, в сторону Петровской переправы, в гнилую старую иву или в еловый, до самых гвоздей иссушенный солнцем забор. При живой хозяйке синие куски гуляли по растяжкам, легко хлопали над заборами. Белую эту простыню издали сняли уже все подводы, шедшие по большому тракту, и бабы, которые за молоком к вечернему приходу почты покупали ещё груш детям по полушке. Лишь тогда, когда она провисела без дела до самого обеда, из соседней мыловарни пришёл мальчишка, заступил голыми ногами на порог и спросил:

— Что ж, у вас мать не встала, что ли?

Ему никто не сообщил. Был такой возраст, когда сознание своего участия в каждодневной правде кажется мальчику несомненным. Увидел простыню, догадался, перешёл глиняный откос, вошёл куда следует и сказал как есть.

Евдокия Таланова взяла его за плечо, вытолкала на улицу, закрыла дверь.

— Сама сниму.

— Хозяйка-то у вас…

— Топай, братец.

Она поднялась в сушню. Ноги считали перекладины. Третья чуть ширкала о край подола, пятая оставляла чернику под правым коленом, на последней до конца не подтянешься, если забыть на середине один-единственный оставшийся целым гвоздь. Не было в этом месте вещи, о которой она хоть раз не ушиблась. Простыню она сняла, скатала и положила на плечо, прижалась щекой. Солнце нагрело полотнище, с него пахнуло летним полевым лопухом. Она на минуту осталась стоять так, что никто с земли её не видел.

Внизу по переулку тянулась пароконная одноколка. Сидел на ней, свесив ноги, старший Марфин, Александр. Хороший у него был дорожный пиджак, цвета озимого овса после снега, и соломенная шляпа с чёрной лентой. Про него всю весну ходил слух, что настоящую английскую соломку в Нижнем за деньги распускают и нашивают на борта крысиную шерсть. Не всякому купцу собою это к лицу, а Саше — очень. Молодое лицо такое, что если он наденет сахарный мешок, скажут, из новых фасонов.

Ехал он наскоро, потому что мать не вчера заболела. Два дня до этого ей было повеселее, она велела не трезвонить Саше телеграммой за казённые деньги. Ему десять дней подряд прежнего дядю в вальцевой конторе замещать, работа с большою для него пользой, у людей одно слово при деньгах три недели простого дела кормит.

— Пришла, чужая? — спросил Александр с мостков, оборачиваясь к лошади.

Лошадь отвернула голову. К ней это не относилось.

— Куда мне приходить, я тута, — сказала Евдокия.

Он поднял глаза, снял шляпу, положил на сиденье.

— Где мама?

— Приходи в переднюю горницу. Успела она тебя дождаться, только не так, как мы хотели.

Он достаточно долго оставался с непокрытой головой на солнце и, не вставая с одноколки, уже понял. Так потом на похоронах и стоял. Рука у него коня держала за вожжи умно, чтобы тот не дёрнулся под горку. Мальчишка из мыловарни сломя голову ринулся через улицу к ним. Некому было в этот день у горбуновской красильни отказать и ему.

— Сними-ка ящик, — сказал Александр, не глядя. — Садись вместо меня. Я приду — получишь гривенник. Только не гони. Ты чей?

— Мы свойские.

— Вам, свойским, гривенники дают вдвое реже.

Дуня снесла с галереи белёный кусок. Подошла к братцу, который годился ей в родню по тётке, а был моложе на пять лет.

— Она сказала тебе чего? — спросил он.

— Велела полотнище снять.

— Обо мне, разумеется, я спрашиваю. Мне какое дело до их самолучших полотнищ сейчас!

— Просила у Ражевого узнать, по какой цене он возьмёт партию, а когда я сказала, Сашето писать, ответила — куда бы я без вас всех, проклятые, успела. Это отцу нашему говорила, когда на мосту волна расшатала доску и штанами мокрыми к порогу его вынесло. Ты мать знаешь. Если я что другое придумаю для утешения, тяжело мне будет потом вспомнить хоть одно слово верное, когда захочу её услышать.

Александр поднял с земли лёгкую пеньковую с верёвочным зыбким ушком дорожную сумку. Сумка казалась у него в руках слишком лёгкой для человека, который по воде и по суше добрался из самого Нижнего сюда, где старые красильни и серый конёк над пожарною каланчой да две улицы к реке. Никто там его не ждал, кроме мёртвой матери.

— Она болела сильно под конец?

— Боялась. Просила форточку не затворять. Под самое утро попросила дежурную уйти. Я вышла и села снаружи. Ну, так и уснула сама. Солнце на половину ступеней поднялось, я опять к ней. Её уже нет.

— Ты видела, как она умерла?

— Нет.

— А мне написать…

Он не докончил. Лицо потемнело, лёгкий пиджак заметно стал тесен ему в плечах. В Пристанской церкви уже знали, потому что дьячок Заморышев раньше всех получил известие от прозрачных ног мыловаренного сына и теперь звонил не так, как положено, не поминально, а средне, никакого большого упокойного звона без платы у него всё равно никто бы с порога не выпросил.

— Молись, Христов человек, — сказал молодой Саша. — Молись. Говорили тебе.

Марфа Васильевна лежала в узкой передней комнате. Картина над ней, какими в горбуновском доме обычно украшали самые слабые места в стенах, изображала французского неизвестного человека в лисьем воротнике; усы были налеплены на лицо двумя толстыми пятнами, будто забрызгали из чернильницы. Марфа величала его лисоводом. Позавчера она открыла глаза, глянула на картину и велела принести воды, «этот французский лисовод меня ещё раз переживёт». Француз зацвёл над ней.

У окна стояла на карауле Улита Савина. У неё от постоянной работы в пару белые волосы взялись кольцами. Острижены совсем коротко, что многим прежде казалось грехом. Женщины

не стриглись в их доме никогда, не считая детских вшей, и Улита год про то зимой горько клялась мыловару, чтоб не давал её под косичку покупать. Этим дело и кончилось. Улита была лучшей в уезде сушильщицей. Есть человек — есть у него волосы, и хорошо бы делу ни с одним из двоих в убыток не быть.

Александр перекрестился. Долго стоял у покойной, не умея заставить себя её поцеловать, а Дуня думала, что же такое она забыла важное, от чего у неё между лопатками всё утро тёрлось под булавкой. Спрашивать, где Наденька, ещё не время. Наденька всю весну прожила у своего жениха, поселкового аптекарского помощника, точнее, у его вдовой сестры, почти в шестидесяти вёрстах по боковой дороге. Там гостила и ждала, когда, по её собственному выражению, семейство перестанет брать на себя временные обязательства. Проверять, сколько пойдёт на упокой подьячему и можно ли везти на похороны приехавшую с другого берега тётку, будет удобнее после обеда. До смерти Горбунова, законного супруга, Марфа держала в ящике под вытертым тяжело подобием кружева железный ключик от шкапчика, званого в доме дочериным, там имелось ровнёхонькое пурпурное шёлковое платье, уже однажды надёванное покойной. В каком платье её теперь хоронить?

— Да уж в синем-то не вздумайте, — сказала громкая Аксинья Беляева за спиной. — Она в синем всю свою жизнь на нашей воде пережила. Красное лучше или пёстрый буржучок.

При живом товаре Марфа остановила бы её: судить о человеке по тканому раппорту — всё равно как об огороде по горошине. Но она лежала бледная, слишком малая для своего дома, неловкая, будто рука мадам, наконец, перестала расправлять накрахмаленные челышки у воротника.

— Хорошее пурпурное есть, — сказала Дуня, — его и достану.

— Ты его сними с того, на ком оно есть, — ответила Аксинья. — Полтора года как она его Наде отдала. Всё берегли, которого сносу не будет, а тут до того бережения дожили, что твоей тётке до сих пор Домнина старая рубаха на спине трещит. Ты где спала под утро?

— На порожке.

— А я в сараюшке под досками. Кот мне две осиные головки в ухо запустил. Они целый час шевелились. Вот чья смерть мне теперь тоже аукается. Пойдём, созовём девок.

Женщин в мастерской было одиннадцать, включая готовую держать на локте ведро старшую Домну. И по воскресеньям двое ходили сюда, проверяли вытяжку, наливные вёдра, пропускавший сбоку чан, коней при сушне, мышей, которые у Дениса последнее время начинали отличать на неостывшей доске растительный узор от правильного сверленого горошка. Жили привычно, в этом дворе важнее всего было однажды столкнуться и больше уже друг без друга не обходиться. Вот теперь попробуй скажи, кому и как про смерть. Под навесом стояла Мотенька Чекасова. На груди у неё спала младшенькая, с вдавленной на широкой морщине каштановой бровью, чуточку приоткрыв рот. По этой каштановой морщинке, по тому, как морщит губы, навек и осталось узнавать мать в собственной девочке, ни у кого другой такой брови не сыщется.

— Если жадный Ражев придёт к воротам, — сказала Дуня, — не гоните совсем. Отдайте ему этот самый кусок, который Марфа Васильевна последним на пробу выделила. Скажите, с заказом либо я к нему приеду, либо у нас и без него глаз хватит всякого вида ситцу персоной поклониться.

— А когда считать начнут? — спросила белолицая девушка, сидевшая верхом на выпуклой большой бочке из-под льняного масла. Звали Паней. В уездном училище она выучилась двум полезным вещам: писать не царапая пером бумагу и любой вопрос задавать так, что взрослому человеку делалось от него неловко.

— Завтра или послезавтра. Почему спрашиваешь?

— Да у них в ряду, где тряпьё принимают, уже по двое сидят. Ходил кладовщик из Полозовских. Говорит, старая Горбунова за шесть тысяч не отдает, так ведь в гробу-то ей не оста-

нется, чем отпереть, глядишь, пока две недели без оборота, молодому хозяину сбудет он свой векселёк за половину. Как-то так сказал, птица его прободай. Ударить его прялкой хотела я. А потом подумала, может, он полезное говорит.

— Не шестью тысячами они возьмут, — сказала Аксинья, — а тем, что мы, дуры, через две недели начнём по одной ходить занимать. Меня прошлой осенью сахарник выручил на три целковых, нынче косить к нему пойду всем домом, а в доме кто? Гусыня и дед.

— Ты теперь вместо маменьки у нас? — спросила Мотя у Дуни.

Прежде она не интересовалась, кто и каким образом заведует двором. Красота её сильно мешала работе, придут иногда с прохожими говорить солдатики с рыночной площади — руки приходится держать поближе к пруду. А теперь на сквозняке держит ребёнка, слева прижимает материнский подол, справа — деньги, полученные в каком-то новом, беззаботном мире за два табачных карниза и одну уже сношенную пряничную доску.

— Маменьку не заменишь, — сказала Дуня. — Дайте мне сперва залезть к себе на стол и в упор посмотреть, какой нам заказ оставила прощальный.

В закутке под сушней, где горел ещё всю зиму не убранный тоненький фитиль над ведром, она отыскала грушевую доску. С весны выбирала для пробного туманного колера самое ровное деревце. Всего потратила четыре куска. На одном просторные тонкие птичьи крылья смотрелись как метла у городового, на другом дважды поперёк пришлось гвоздик стачивать, он на волокне рвал будущую кромку. На третьем устройство узора само появилось — возьмёшь за левый угол, приложишь к белому, сверху прижмёшь всю ладонь, поднимешь. Всё. Двигаешь ещё на пядь, до самого следующего соединения, а птица одна влитая в белую волну уже попала в компанию другой и дальше вся их длинная улица шла до невидного в окне Ключевца моря.

Она взяла доску, подставила под окно. Ноготь на среднем пальце у неё откололся, и этим шероховатым ногтем она проверяла края лучше самой тонкой кисточки. Основание крыла слева было пустовато. Ещё немного подрежь — белый цвет разольётся гораздо выше, будет видно издалека. Оставь как есть — птица останется земная.

Белый миткаль лежал на плече. Дождался-таки, подумала Дуня. Мы с тобой сегодня и приезд Сашки пережили, и мальчишечью горячку, и про твой цвет в моём дворе думают всегда в последнюю минуту. Рука подхватила деревянную киянку. Села. Доску подвела к свету, услыхала топот лёгких шагов в коридоре.

— Уже рисуешь? — спросил Саша с порога. — Мать ещё не схоронили.

— Если успеть снять с доски правильную пробу до вечера, мать нашему городу ни копейки не останется за заказ должна. Если думаешь, что я сижу тут из одного бесстыдства, уйди.

Он подошёл ближе.

— Денег нет на похороны, Дуня. Я в шкатулке посмотрел. Двенадцать рублей пятаками и три гривенника. Всё.

— Ищи в краске. Она туда всю жизнь положила.

— Не остри.

— В банке из-под ультрамарина, в шкапчике сером. За её спиной. Она по утрам туда по полтине скоблила. Мог бы догадаться.

Саша закрыл за собой дверь. Она проводила его взором и, пока не вернулся он с банкой, повторила свою птицу через всю пробу. Выходило хорошо. Простыня на плече оставалась тёплой, как рука на случайной минуте у человека, который ещё не простился.

Глава 2. Узел на мокрой дороге

В день, когда везли Марфу Васильевну за Петровскую заставу, лошади неслись весь путь по городу с лёгким мокрым дымом от подков. В своей родне она первая выехала на взгорок с таким большим почётом. Отец её, бедный суздальский сапожник, пришёл сюда с одной колодкой без пары. Бедствовал первые годы так, что даже подковать ботинок в лошадином дворе было ему недоступной радостью. Муж был богатый, но в своей семье вместо старшего сына у Марфина батюшки он не прижился. Везли её четверо широких спокойных коней, без попон, а следом человек тридцать. Работницы шли по обеим сторонам дороги, и приличное их количество, по мнению дьячка, пригодно было бы любой дороге. У самой часовни кто-то из уважаемых людей начал громко говорить о делах и получил от уездного лекаря предложение спуститься в канаву и не портить другим вид на умершую женщину.

Поравнявшись с последней колымагой, Дуня увидела, что у девчонки её Наденьки малиновый башмак держится на самой малой тесёмочке. Двоюродная сестра шла молча, опустив подбородок. Вера её была всегда в полном порядке, она умела накладывать на грудь крестное знамение так, что выходило похоже на маленькую, видимую только ей картину. Теперь же у неё было расстёгнуто пальтецо, в корсете провисала спина, перекошена аккуратно подбитая шляпка. Не так ли и сама Дуня шла за своим Иваном, двадцати семи лет от роду, фуфайку под шалью наизнанку надев, булавку в пройму воткнув. Она тогда не любила его и всё же была с ним семь лет, видела его ежедневно за водой, за полной тарелкой, у больных детей, рождавшихся у других женщин; своих у них не бывало. Иван водил её к циркачам, как-то на бегу купил объедков-яблок с печи, завернул в шапку, небольшими своими мужскими секретами был слаб и весел. Когда умер, она обнаружила, что сама всё время была на этом свете невесть чьей второй рукой, которую ни разу не привлекли для красивого поворота или приседания, но которая удерживала всё-таки некоторые невеликие домашние тяжести и потому имеет право болеть, когда у человека что-то отнимают.

— Надюша, стой, — сказала она. — Может, остановит нас лошадь, если увидит, что две барышни в обмороке лежат. Башмак твой поправить надо.

Надя подняла на неё глаза почти из-под руки. Без тени долгого тяжёлого горя, какое люди любят видеть на очень молодом лице, когда везут мать.

— Могу сама.

— Ну, разве я говорю, что у тебя обе руки сонные. Тебе если нагнуться, из шляпы выскочит голубой цветок. Я его спрячу.

Надя опустилась на корточки, тянула тесёмку, и из-за спины у неё потекла из маленькой прорехи в кармане пёстрая смесь. Завёрнутая в угол старого газетного листа гвоздика, зёрна тмина, несколько почти чёрных высохших плодов, какие-то короткие гранёные палочки. Ближайший конь, требовательно всхрапнув, повернул голову на запах.

— Сняли со стола на уходе, что попало, — сказала Надя. — Батуев, можешь подобрать мне корицу?

Молодой аптекарский помощник, её жених, склонился. Роста с Надю, тонкий, выхоленный так, что вовсе не видна под воротничком ни одна тень, даже от воротничка. Взвешивал всё на свете, кроме самого себя. Как-то раз Батуев прокатил через город на деревянной коляске, которую дал ему для образца ремесленный ученик, три стеклянные бутыли по четверти, и ни одной не разбил. Так и выглядят, наверное, люди, которые круглый год в белом и не боятся быть голодными.

— Тут валяется можжевельник. Остальное вон.

— Нет, с той стороны тоже было.

Лошадь вдруг сдвинулась, а с последней таратайки, сейчас только подъехавшей издали, спрыгнул единственный человек, который не успевал на первые шаги к могиле. Крепкий, чуть сутулый, в синей суконной куртке и шерстяной сухой фуражке, никогда не ездившей в лихие моря. Дуня со вздохом прижала рукой Надину шляпу. Это был Чирков, судохозяин Алексей Львович, которого в семействе называли по большей части «должник».

— Примите меня между вами, — проговорил он. — Все торопятся, я не собрался.

— Заплатили бы раньше за прошлогодние запасы, так хоть новую подушку мать получила бы до весны, — ответила Надя.

Батуев натянул рот, сгрёб в кучу рассыпанные травы и стал завязывать узелок. Теперь этому узлу было далеко до нарядного кармана.

— Опять коня задерживаете, дамы. Хоть один бы раз в жизни сделали исключение на колесо.

— Не ругалась бы ты с мужчиной на материнских похоронах, — тихо сказала Дуня. — Надо же его вопрос выслушать.

— Ни у кого ничего не спрашиваю, — возразил Чирков. — Увидел Надю, жениха, Дуню. Хочу пойти вместе с ними, покойников надо успевать провожать. А кто кому в этом поезде денег долг будет, это мы завтра разберём.

Он имел привычку смотреть чуть вбок, не от дурного умысла, а потому что висевший у ворот на правой скуле маленький рубчик тянул нижнее веко вниз и плохо пропускал сильное солнце. В правом глазу можно было светить грошовой свечкой под самым носом у Алексея Львовича, и он выдержал бы с минуту, а после сперва скажет слово чуть потеплее, чем «батюшки», и только потом попросит огонь убрать.

— Как Таня с бабушкой осталась? — спросила Дуня.

— Татьяна теперь у батюшки в гостях. Мы на покосе в прошлом году с ней выдержали отвратительный разговор, пришлось оставить ребёнка в покое. Отвратительный разговор молодые мужчины производят вообще идеально, только скажи о женитьбе и о детях. У старого дурака совсем иная беда. Ему уже никто не предлагает помолчать для разнообразия!

— А она своё умеет сказать.

— Сегодня с утра в четыре поднялась, свернула мне пирог с луком. На похороны, говорит, надо ехать сытым. Если ты будешь стонать там, папенька, от голода, скажут, что у нас опять семья голодает. Я съел.

Впереди шёл Александр, две его руки как влитые лежали у гроба. Рядом с ним Марфина компаньонка, которая исполнила при покойной работу постыдную для родных: читала по вечерам вслух жития и научила в старости разбирать мелкий фабричный шрифт. Училась в десять лет, но все буквы по жизни влезли только в торговую книгу. Дуня знала, в первый день, когда тётке удалось подписать от руки Дуню «Евдокия Петровна Таланова» без вертлявой царапающей ошибки в начале, она выдернула бумажку, сложила пополам и принялась глядеть на неё выдавая хорошим знакомым «вот, у меня и ума уже сколько». При первой встрече со смертельной болезнью она убрала все буквы, листы и книжки в один мешок, чтобы ей больше никто ничего крупного не всучил на подпись. Жить по-старому хотела. Похоронили её на обыкновенном кладбище на холме, не на новом, при Николаевской часовне, где гильдейские родственники пытались выхлопотать землю. По земле меж корней шуршало так много мелких скользких сухих листочков, что летнее деревце казалось уже одетым в осень.

Когда вернулись к дому, на большом дворе красильни ещё стояли накрытые два стола. Их обнесли парой выстиранных балахонов, потому что мимо на крутом берегу в полдень прогоняли коров. Над гробовыми платками пыли было и без того достаточно.

— У нас тут человек свой или чужой? — подравняла большой круглый хлеб Улита. — Чирков, садитесь к нам. Всё равно по дороге уедете быстрее, чем самовар поднимется.

— Хозяина бы спросили.

— Справили уже. Один строг, другой вовсе ничего не велит. Александр Ильич, будете уху или кулебяку?

— Руки вымою, — ответил тот.

По тому, как он втискивался между забором и поминальными столами, сразу стало заметно, что выросший в Москве человек, если б ни разу не бывал здесь, оказался бы у рукомойника втрое быстрее. Саша вырос в Ключевце, а добрых восемь лет носил чужие башмаки, говорил, как говорят по другую сторону реки, а теперь не помнил даже, где детское мыло у матери. Надя выбрала себе место к волокнистому большому тополю спиной, не сняла шляпку и не подала руки жениху, когда тот осторожно приподнял её локоток перед самой лавкой.

Чирков набрал себе с головою ухи. Вложил в середину щучьей скулы ложку, не спеша снял жаберную крышку тонким ребром и подцепил крошку белого мяса без единой косточки.

— Её любимое было, — проговорил он, подталкивая ложку к Дуне. — Я её в одном месте зимой тоже таким хорошо накормил. Есть, конечно, у меня сорок семь рублей, что ваша покойница мне одолжила на зимний простой, но не беспокойтесь. К Николе, как и договаривались, привезу. Я ей приносил, она сама велела оставить до следующего прихода.

— Никола весной был, — сказала со своего места Надя.

— Вот ваш молодой аптекарский человек может подтвердить, что святых Николаев в русской торговле в году больше одного. До зимнего было сказано.

— Долго. Мать уже умерла.

Алексей Львович положил уху на корку хлеба.

— Умела она, ваша маменька, срок выбирать, когда ей его самой уже и в руки не получить. Гляжу, вам деньги пригодятся, до июля сведу. Только я нынче четыре дня по Волге шёл, всё грузовое место у меня в воде. Бывает такое в речном хозяйстве.

— Зато как у него получалось удирать, — сказала Аксинья, которая вот уже двадцать лет выделывала отрезы с крупной брусникой на светлом, как бабушка её, исключение делая лишь для летнего времени, — помню, дочка у Чирковых купеческая была, замуж просилась за приказчика. Этими же кустами скакала к тётке на пробы. А маменька её схватится за веник, потом собачку спустит! Да где ж её возьмёшь, если она в ваши кондовые маковые цветы оделась, свернула в нашу сушню — и пропала вовсе. Вы как поженились, Алексей Львович?

— Нас взяли и поженили, — выговорил он. — Главное, зрителей всех заранее собрать и костерок возле храма погасить. Через год родилась Татьяна, это я помню очень хорошо. Через десять лет Настасья моя умерла, это я тоже помню, а вот из всего, что между одним и другим произошло, осталось то, что покупали однажды новую головину печи и мастерок маленький был у нее в руках. Как сажала она известку на место… Я чего болтаю. Помянем Марфу Васильевну.

Чирков с Дуней когда-то уж стояли рядом за одной плитой в такой же разгар короткого лета. Она его знала с четырнадцати лет, когда он перемножил на перилах двора оловянным карандашом десять на девятнадцать и получил девятнадцать рублей незаконного барыша хозяйки. Её Марфа глаз не подняла, а мокрой щёткой по перилам тому умному лодочнику принесла доказательство, что торговля стихия ещё более мокрая, чем его пузыристая река. Оба весело засмеялись. Люди имели срок пройти от первой чистосердечной обиды до собственного чина старшего в доме, и речная вода была ни при чём. Они оба рано похоронили своих, и у обоих собственная постель оставалась узкой и недоверчивой. До рыночных слухов ни тому, ни другой дела не было давно. Наденька, которая сидела с сухим лицом, а на деле приближалась к часу более сильного несчастья, не сразу поняла даже, чему они не к месту улыбнулись.

— Тятенькин врач говорил, когда человек умер, — начала девушка и не кончила. — В мире места освобождаются. А у меня точь-в-точь мать здесь за столом, и места ничуть не стало больше. Будто через каждые пять минут нужно оправдываться за то, что у меня в траве

под полозья засунуты ноги. Я самостоятельная. Зачем мне теперь её советы уже после смерти каждую минуту слышатся?

— У меня мать умерла в пятницу, — сказала старая Улита. — Когда же пятницы из года выбросят повсеместно, я, стало быть, и перестану на пескарей по утрам сердиться. С двумя костями выудишь, остальное обратно на Волгу приходится выпускать. У меня мать пятничную уху терпеть не любила. Вы уж делайте что вам нужно, а если мать мешается, чай, к добру привыкнете.

К столу подошёл лысый человек с восковой свечой в руке, который пятнадцать раз в день мог назвать себя жителем обеих волжских сторон. В ту ночь, как Марфа Васильевна почувствовала слабость, Дуня от хозяйского имени разбудила его на левой пристани и извинилась за то, что по таким делам вызывают его немедленно, когда он ещё без кушака. Это был нотариус Львов, которого в городе никто не титуловал. Он хотел сказать, что банкир находится в Нижнем, и хотел объяснить, почему одно кое-что им всем можно устроить уже сейчас, пока бумаги идут как положено. Сел к Александру, два раза сказал «милостивый государь» и начал шинковать лук в уху, которая давно простыла.

— Домашний завтрашний разбор имущества прошу, — сказал он Дуне, — не считать государственной описью. Это старое намерение вашей покойной тётушки установить прежде всякого договора между вами, что кому принадлежало ещё до неё. Под сушней навалены манеры, в сарае — печатные столы. Есть основание полагать, что у некоторых из вас на это своё право имеется. Чтобы в порядке приличия мы не шли наперекор тому, что она думала. Запасы снимут завтра сами, когда кто явится. Я приду как товарищ покойной, знавший до смерти её, что она выстроила своими руками и чего она сама никогда за своё не числила.

— Господи, — вздохнул Александр, — у вас и гвоздь не по-людски идёт, а на собственных четырёх.

— Всё на свете держится на чьих-то духовных четырёх гвоздях, юноша. Чтобы вы знали: прямо передо мною состояние достопочтеннейшей молочницы, квартиры её, коих целых три, отошли племяннику и подруге детства по тринадцати строкам огрызком фиолетового карандаша, которых хватило очень простой и очень старой признательной женщине. Её четыре гвоздя держались на крохотном, знаете ли, таком сучочке. Так вот!

Сумерки наползли на столы со стороны сушни. После третьего разбора какой-то давней коммунальной обиды дьячка на Ардальоновича (кто из двух был дьячком, кто — Ардальоновичем, стала третейская загадка), составления общей шапки на угощенье и ещё одного другого обхода с полотенцем, когда у всякого гостя, вставшего из-за стола, нашёлся на ладонях синий цвет, все постепенно разошлись. Чирков проводил Надю с женихом до большой комнатки над ванной. Поклонился на Дунин порог.

— Я левую скулу растянул в угли лезть на той неделе. Там, на шее, крупная рана?

— Я вижу синь от уха до плеча. Ты что, ведро ронял?

— Моя девица на пароход просилась купцом. Я ей выдал ведро. Воды зачерпнул, она подхватила. Меня и приложило.

— Ей двенадцать, ты, поди, забыл свой счётный возраст.

— Я видел на растяжке сегодня летящий новый твой ситец, Дуня. Она мне и сказала, в этом году никто, кроме неё, на лодке такой материи не получит, какого бы звания и образа он ни был. Сколько я должен заплатить вам всем, чтобы из маленькой дочери в хорошем платье не получился маленький разбойник без денег?

— Заплатите индиго, — сказала она. — Синь у нас через месяц кончится, лодок много, а возить понемногу да дёшево некому.

Он посмотрел на развешенный белый отрез и короткие к нему синие пробы и ничего больше в этот вечер не спросил. На волнистой мокрой дороге перед ним лежал забытый Надею

узелок. Он поднял его, сунул в карман и зашагал к пристани, чуть прихрамывая на правую ногу. Тёплый приезд на похороны окончен, а возня и жизнь только начинались.

Глава 3. Опись с занозой

Почтенный Львов пришёл по делу так тихо, что даже болтливые куры за сушней, которых стоило возмутить однажды в жизни, а поутру они возмущались уже сами, не отозвались. Под мышкой у гостя две тощие книги. Одну подарили отцы города за какой-то древний труд по собиранию долгов на мощение набережной. У неё имелись золотой вензель в углу и жёлтая подкладка; хотя купили переплёт по сбору всем городом, подкладка начала уже облезать. Вторая и без того вся досталась от покойной. Всего на двадцать один недошитый разворот, третий с конца испачкан сажей, под задней крышкой заткнут медный полугрош из тех, какие уже не принимают.

— Евдокия Петровна, — сказал он, — от имени вашего семейства вы первый человек, который меня увидел. Не подала ли бы чашку кипятку? У вас здесь горла чище, чем у нас в городе, — все книжки варежкой трёте?

— А тётка моя знала, что по её смерти ты, Иван Семёныч, станешь высчитывать половину сахара с соседки? Я ведь не курица, ты ещё к вечеру меня пригласишь кипяток держать даром в руке.

— Поневоле. Стоит ступить на землю известной торговки, у всякого вдруг появляются долги. Иду с человеком в шляпе, хочу сперва поздороваться с его прекрасной матушкой. Хватает меня за локоть и просит кланяться этой конторе: «Скажите, что о моей покупке знают все прочие, и убавьте четвертак». Слышите? Мы уже добрались до четвертака.

Последние слова он адресовал окну угловой конторы, где хозяйский сын, одетый не для приёмов, а для работы, записывал время два раза, чтобы вышло поровнее.

— Со всем почтением, — распахнул створку Александр, — я бы настоящего дела просил великодушно не мешать с полтинниками. Здесь из детской я уже вышел. Сырьё, железо, окрасочные и полоскальные столбы, если грузить, нельзя допустить, чтобы вышла утрата. Кроме всего прочего, вчера приходил гость из Полозовской. На левом берегу открывают сухой склад, у них острый интерес к нашим строениям. Хотят знать, сколько, а я даже не могу описать, предмет ли это купли. Утром от одного спрашивая, к вечеру второму другое отвечать я не стану. Слушайте покойницу — её воля. Только бумагу положите мне на стол.

— Пока у меня в руках, мой друг, бумаги больше, чем на столе вашей покойницы за всю её жизнь находилось, — заметил Львов, сел на ступеньку, между куриной прогретой землёй и Сашиным плохо скрываемым нетерпением, и налил себе в стакан кипятку.

Надя принесла себе стул. На щеках её остались неглубокие ямочки, когда-то приученные зрителями появляться во всякий мало-мальски удачный случай, и эти две ямочки очень мешали девушке в деловых разговорах. Она надвинула на лоб высокую домашнюю косынку из свежего кисейного куска, села боком ко всем и стала перематывать в руках всюду имевшийся у неё запас красной катушечной нитки.

Александр считал, что в доме без описи останется только то, что гвоздём приколочено к стене. Тётка распорядилась по-другому, и в первый же день учёта гвозди тоже подверглись осмотру.

В задней сушильной сараюшке все скобяные вещи так и просились по горсточке на тощую страницу. Здесь сходила ржавчина, здесь были два крючка, без которых никакая ткань не натянулась бы поперёк зимней курной комнаты правильно, здесь мотки запасной верёвки на каждую реку отдельно, здесь кованая, завёрнутая в зелёное болото промасленной мешковины шпилька со шляпкой, под которую можно было пропустить сразу четыре нитки. Дуня знала, чего они стоили новые. Не знала, что с них можно нынче выручить.

Львов поочерёдно снял шапку со столика у двери, покрутил один пеньковый моток, велел Саше оставить всё это хозяину двора и не претендовать на крючки без накладных.

— А где же взяться накладным, если всё куплено у соседа на поставу? — поинтересовался молодой.

— Нет накладных — люди свидетели. В данном случае здесь нет спора, одного старушечьего показания хватит сполна. О другом сейчас задумаемся.

Собственно ремесленный стол стоял в нижней горнице, где сходились два больших окна. Таким образом горячее солнце одинаково давало слепой царапине на чёрном камне цену полоски золота. Слева от стола с глубокими утопленными ящичками было место, на котором Дуня провела больше лет, чем в собственном доме. За одну весну выучилась по дереву работать, целый год постигала, как сохранить всю четвёртую часть узора при переходе с доски на доску. Ещё за одну, самую счастливую, зиму смогла сделать пробу сразу с двух досок в две краски, — прежде чем яблонька за окном зацвела. Тётка тогда не похвалила. Только унесла рисунок к себе, сложила с прочим хорошим, когда заказчик через месяц увидел и захотел прикладистую ткань, назначила такую цену, что девица Дуня собственными испачканными руками бельё себе купила на целый первый год замужества.

Здесь были ещё работные столы для набойки. Четыре, отмеченные долгими тремя зарубками. За первым Аксинья; его держал хороший сосновый конёк и оправа из крепкого, как настоящая кость, потемневшего от пара дуба. За другим стояла молчаливая Василиса Медведева. На этом одна половинка откидывалась; когда требовалось пустить через кромку только один уголок, она без помощницы подбирала под петлю узкое, длиной в аршин полотнище. На третьем — синий по чёрному след от собственного ногтя Улиты. Черноты через эти годы досталось всем больше, чем узнаваемых меток. Четвёртый предназначался старому Денису Глазкову, широкому тульскому человеку, у которого от поварни под левым глазом осталась рыжая звёздочка. Самое большое было его достоинство, что никто никогда не слышал Дениса кричащим. По его штучной работе, летнему кубовому, хотя бы весь берег с Вологдой до самой казённой типографии спорил, можно было знать, что у этого человека на теле ни одного лишнего пальца нет. Всю складку держал ровно, рисунок наносил близко к краю, присаживался перед серединой и глядел один миг против света; в эту секунду под нею цвет обычно и выходил. Что им сегодня, всем этим людям, станется от четырёх столов, Дуня себе хорошо представляла. Место действительно удобное — для склада.

Пока смотрели, через открытую дверь влезла с Сашиным позволением Паня и села за маленькую дощечку у двери. Молча открыла сбоку счётную книгу, поднятую из материнского ящика.

— Сроку этой книге, — сказал Львов, — от пожара позапрошлого десятилетия прошло двенадцать лет. Я вам хочу раньше времени прочитать из записей в ней вот какие слова: «рабочее заведение при доме нашем содержать совместно, поелику женщины мои имели собственный вклад...» Это Марфа писала мне, а я на приличную книгу положил к ней текст, какой сама одобрила. На втором листе. Здесь различаем два рода имуществ. Первый — условие найма помещения, куда никто из вас без хозяйского ведома входить и выходить как к собственному ложу не вправе. На первом месте у нас земельный участок, флигель в два окна, каменный склад — бывший селёдочный, дом жилой, сушня. Всё дети Марфы Васильевны между собой, как при ней договорились. А что до прав на инструменты и столярную новую оснастку, это другая история. Семь паёв имелось по общей затрате после огня. Сегодня это имущество описывать в доме следует как находящееся в таком-то месте, а отдать его самоделом ни Александру Ильичу, ни его сестрице нельзя. Чую, заминка нам предстоит.

— Сколько паёв матушки?

— Свой, целый. И старый, Горбуновский, из мужней личной наличности, за работницу, которая после пожара решила остаться при ней в услужении. Вы пока не торопитесь. Найдём отметку об уплате. Совсем не значит, что подписанная собственность перешла к вашей матушке. Могла и в долг взять одна из работниц.

— А семь старых женщин все живы?

— Шесть знаем кто. Седьмой был человек, работавший резчиком прежде вашей кузины, — сказал Львов. — Посчитаем к вечеру. Меня касается только случай, когда все друг с другом, при общем сегодняшнем согласии, придумают, как быть. Отдельные подписи я свидетельствую тогда, когда надо. Листу самому двадцать лет не даю — и меньше будет. Никаких чудес казённая контора вам в литературном виде не предлагает.

Раньше казалось, что если чиновник начинает «литературное», то, следовательно, ближайшего обеда ждать уже напрасно. Теперь Дуня заметила, что младшая девушка перестала следить за тонкой ниткой.

— Мне половину, — сказала Надя. — Я прекрасно понимаю, что мне не жить с Семёном — с господином Батуевым, и я не собираюсь вам всем бесповоротное обещание на бумаге оставить, что останусь в той мастерской и буду до гроба компаньонкой собственной мамаши. У нас в Сосновцах две лавочки, они предлагают наём, у нас два окна на улицу и одно во двор. Я к зиме с деньгами мне принадлежащими комнату должна оплатить. Мы там с батюшкой Семёна хотим открыть аптекарскую торговлю.

— Выйдешь замуж — будешь распоряжаться, — произнёс Александр своим конторским, будто взятым взаймы голоском.

— Так я, раз замуж пойду, значит, вообще перестану распоряжаться. Ты как заботишься о сбережении моего характера. Я вот хочу пока одна распоряжаться тем, что мне принадлежит. Это чтобы в следующий раз не услышать от собственного Семёна то же самое: открой с кем-то новую лавчонку, после этого ты им будешь распоряжаться. Сначала дом. Потом лавка. Потом чучело болотной кулибы в окно. А там — могилка у самой воды, цинния выросла. Нетс. Деньги мне нужны сейчас. Никого я за столы ваши из дому за волосы не тяну. Если у вас намечено дело и вы знаете свою половину общей цены, готовы отдать Батуевым деньги за меня, стану вам платить процент, как умеет мелкая старуха, всю молодость простоявшая за перепиской рецептов. Только если не хотите — давайте искать покупателя.

— Ты уж извини, Надюша, — сказала Василиса. До того она двадцать лет не начинала, бывало, ни одного разговора, но сегодня оказалась разговорчива. — А у нас вот столы и прочее, что на них накрашено, одним боком крепко прилегают к полке, а полки в стенке. Вы стенки эти можете гостей наших в петербургскую разборку выставить как ваши собственные, а куда я со своей столешницей пойду? У меня двое в дому, так оба на полатях закручиваются, мне даже такое ведро за собой некуда спрятать. А наём не такой, что посиди как работница две недельки в наёмной-то кухне, бери свой платок, ставь себя на мостик и поезжай. Наём захотите триста рублей к Михайлову дню — и говорить нечем.

— А почему, простите меня, об этом я должна думать? Мне двадцать два. Я не виновата, что старые женщины двенадцать лет себе прибыль никакую из этой мастерской не вынимают.

— Это и есть, — сказал Львов. — Именно так. Вы не виноваты, и они не виноваты. Это те самые подкузьмившие друг друга люди, которые всё правильно помнят и каждый прямо в свою сторону идёт. Сейчас такие люди в кустах хорошо лезут, в уездной жизни нередко встретишь.

В запертой кладовке за рабочим столом обнаружились стопы инструментов, некоторые сточены до самого торца. Из всего их количества Львов отложил на маленькую полочку одну только манеру. Резная доска была большая, как крышка ящика, и с рисунком, не особенно подходящим к повседневной торговле. Пять маленьких домов стояли рядом, у каждого дома два черноватых окошка, а если повернуть немного набок, можно было видеть, что между тем и другим домиком ещё помещалось белое льняное окошко, образуемое не краской, а её отсутствием. Паня протянула до неё палец, получила занозу и тут же отозвала.

— Ну, вашей доли в этом деле, Дунюшка, не обошли, — сказал нотариус. — Одна доска и семиаршинный кусок бумажной материи, что хранила Марфа Васильевна в укладке под своей

лежанкой. Вы им можете пользоваться уже теперь с разрешения обоих владельцев семейного дома. А законными методами это всё надо оформлять позже, как я вам объяснял.

Александр поперхнулся. Что одна доска, пусть на ней и вырезано семь самых настоящих домов или пять и три громадные церкви, окажется всем наследством единственной кузины, которая к этой горбуновской работе приучена лучше, чем они вместе взятые, в его ум не укладывалось.

— Это что же получается, тётушка твоя тебя поставила сторожем на двадцать лет, а потом дом нам отдала? Почему ты её не попросила переписать?

Дуня усмехнулась.

— Он хочет, чтобы я отдала ему ещё двадцать лет вперёд, Иван Семёныч. Посмотрите, что за хороший молодой хозяин нам достался. Нет, Саша, я ничего у неё не просила, и любила я её, и она меня в смешные минуты тоже любила. Эта доска — её собственная. Я ради тебя спрошу: согласишься подпись мне поставить, что против этого не возражаешь?

— Изволь.

— Можно, я тянуть с подписью не буду? — спросила Надя. — Чтобы было без одолжения. На её руках никто не держал в знак платы этот семиаршинный лоскут, пусть он будет твой и моя будущая любая половина с тем вовсе не связана. Добро?

Дуня взяла перо у Львова. Поймала себя на том, как в точности похожа законная сцена на отпуск родовой муки в лавке. Сперва тебя обмерят, сперва ты увидишь, что всё правильно, денег на полновесном весу выходит столько, сколько тебе с утра подумалось; и никто не знает, что обыкновенный хлеб печь — дело чуть более трудное, когда у тебя уже собственный ловчий стол с дивными, ещё не стертыми скребком клеймами.

Улита из глубины чулана вынесла и отдала ей укладку. Коробок на ремне, не слишком большой. Так мать брала иногда в церковь тёплые орешки — изюм, полдюжины мартовских почек на удачу. Вынимала одну и клала себе под язык, думала о том, когда же легонький запах прошлогодней весны тронет её, заставит открыть глаза и глянуть, не пришло ли время добрым людям по домам.

Дуня почесала низ брови, махнула рукой и подхватила укладку под мышку, где у неё прекрасно помещались и доска, и отрез ситца.

— Опись закончена?

— Гранёные стеклянные бутыли ещё, — тонко сказала Паня из угла. — Числом одиннадцать и двенадцатая хромая. Пузырёк кармина давно выдохся, на донце краснота; отдать, должно быть, кузине вашей, у которой теперь в собственном наследстве ни одной живой мухи, которую рисовать может.

— Дай сюда палец, с этаким из неё ничего путного не выйдет. Занозу вынуть надо.

Паня протянула руку; та смешная крохотная боль, которая была единственная известна в этой комнате именно ей, оказалась единственным предметом, который на сегодняшний день никак не требовалось уложить по столбцам в чужую опись.

Глава 4. Квартира над сараем

У Евдокии Петровны имелось одно заведомо собственное кресло. Ободранное, без одной проножки, на которой, как думала молодая хозяйка, не росла петрушка, потому что не было земли. Среди зимы в уголке кресла всё-таки вылезло коричневое ушко. Домна объявила, что это лесной гриб, сунула нож и торжественно вынесла поражённое место к воротам. Впрочем, на кресле можно было сидеть боком — к окошку, между самоваром и кроватью. Самовар никудышный достался от первой хозяйки красильни, кровать же принадлежала бабке, крестьянке-отходнице, которая за два пуда рабочей пакли на канат сумела заложить в бедняцкую свою посуду пять целковых; на них бабка купила кровать и старинный платок, поеденный впоследствии молью.

Домик, куда эти вещи сносили с Дуниной свадьбы, давно уже имел вид будки сторожа. Заклёпанная жесть по углу держалась плохо, в августе под неё забивались чёрные мошки. Передняя лестница вела на пристань; если зимой ходить задом, по земле крепкой, то сразу на Большую дорогу, а весною надо по настилу обогнуть весь низенький дворик, дойти до мостков к Песчаному и завернуть обратно под сарай. Соседи верхние говорили «квартирка над сараем». Жители сарая — две седые кошки, жирный голубь без лапы и больше ничего. Сегодня на вымытой ступеньке стояли, однако, большие мужские сапоги. Кто-то выстучал их одно голенище об другое, убрал в подпол грязь прислонённой к двери розгой и прошёл дальше прямо в Дунин тонкий чулок света из окна сеней.

На подоконнике у самовара сидела девочка, занявшаяся без разрешения куском сизого хлеба. Ноги в одних ничем не примечательных полотняных панталончиках, из-под недлинного чёрного платья косички болтаются да белеют пятки, у ногтей тёмные полосы, у соседних пальцев красная верёвочка, надо бы выбросить, а тогда придётся перевязывать новую. В глазах — ничуть не отцовский расчёт, начинающийся у каждого приличного судохозяина с вопроса, сколько будет стоить при закатном ветре перегрузить баржу с ржаной мукой на верхнюю террасу.

— Здравствуйте, — сказала девочка. — У наших квашня протекла, я тут решила настоящий поесть. Молоко искала. У вас нет молока?

— Там у ноздрёватого горшка кружка накрыта кверху донышком. Таня, я не сержусь на тебя, а удивляюсь. Отец твой с тобой сюда приезжал?

— Он нас поехал известить, что одне здесь. Я с большого берега на пароме приехала. Пастухи идут, меня при них не задели. Я взрослую позвала, честное слово. Сапоги дедовы, велено вам заплатку на голенище поставить. Вы ведь умеете?

— Умею. За каких-нибудь три года до того день и ночь могла учиться гвозди в мужские башмаки вбивать. Подавала надежды в пекари, по барачным специальностям, в гусарский полк чуть не попала, да тут пришли ситцы — вот какие бесполезные ноги у человека остались, а на них намозоленные собственные пятки. У меня шилья нет, Таня.

— А, — сказала та. — Так я и думала. Глупость выходит. У взрослых думают: если человек сидит дома, он должен задницы у сапог чинить, при этом в свободные минуты вышивать.

Дуня засмеялась, сняла платок, повернула щеколду. На середине лица у неё уцелел светлый заострённый след от щепки. Пришлось умыться щёлоком. Таня сидела и глядела, будто в простой присланной для чужих поручений девочке от прикосновения к чужой печной заслонке проснулась отцова потребность выяснить, какая здесь помещена мысль, хорошо ли она помещена и нельзя ли поставить её чуть ближе к человеку, несущему тяжести.

— Зачем на окне иголки ёжиком тычутся?

— Ставку устанавливать.

— Ставку это как? Сколько вам заплатят?

— Наберёшь краски на доску, где, скажем, цвет тёмный, кладёшь на первый цвет. Если доска на один только волос отойдёт, у меня белая лысинка из-под тёмного вылезет. А я тебе диковинного зверя или цветок набиваю, а у цветка, вообрази, в середине всей одежды одна эта лысинка неприбранная. Самой потом глазам смотреть противно. Держу иголки на окне. На пробе пока прикладываю, они мне тот угол, к которому добавить надо, указывают.

— А я думала, это от птиц. Две ласточки у вас уже прямо над крыльцом, и горшком котёл висит.

Сварить чего-нибудь на скорую руку Дуня после описи всё равно не могла, и она вытащила из жестяного судка мочёную вишню, отрезала сало вместе с солью и хлебом. Постелила тряпицу по льну, поставила воду. Девочка уминала молча. Чтобы получить на летний день этакую гостью, при других условиях порядочная женщина пожертвовала бы даже родным братцем. Без извинений, без змеящихся в голове неотвязных тихих подсчётов, которые продолжали за самим обеденным столом тараторить «завтра Саша отдаст дом, Надя погрузит в телегу доски». А вот Таня, три куска рыжего сала, две пригоршни вишен и больше ничего с них не спрашивается.

Через полчаса выяснилось всё-таки, почему папенька так и не пришёл и кого это он поехал извещать. У самого поворота на Песчанку сломали руль с барки, перегонявшей на веслах три фургона мукомолов. Во время переброски севшая снаружи на весло судовая собака сшибла багром деда Федора. Опасность деду большой не грозила, но разбил он лоб. Таню доставить в дом старого Чиркова вызвалась жена птичника. По приезде оказалось, что дед ушёл к раненому, деваться некуда, а «нас» велено вроде бы Евдокии известить.

— Ты часто одна остаёшься? — спросила Дуня.

— Постоянно. Только в воскресенье взрослые мешают. Хочется идти в женское училище. А там из-за меня только одной отворят, три свои ученицы дома всё лето на прополке. Моя мать особенно хорошо читала. Никогда из газеты не выладит в скобку, с последней строчки на первую переедет, всё как есть понятно. Перед тем как помереть, мама мне написала в тетрадь расписание, что и когда делать нужно: проснёшься — лицо умой, увидишь новых детей — дотяни до шести пальцев, пока сама не бросайся им на шею, когда под вечер спать станешь — о своих ошибках не думай. У меня губы болят от этого расписания, я его одними губами ночью всю дорогу бормочу. Я поехать захотела. Страшно было одной. Так-то, ежели от всего понасильно дрожать, чужая пристань своё время зря на тебя тратит, а у меня к причалу ноги хорошо отзываются.

Каждое слово девочки в её молочном возрасте было длиннее положенного. Видно, два мужика и бабка по снимавшимся речным брызгам проводили ей вечерами домашнюю академию наук. Дуня имела бы своей дочери примерно того же роста, вон с то дерево у ворот. Был когда-то в браке у неё мальчик, вовсе не получилась после него никакая новая жизнь, не успев окрепнуть под сердцем, гас тот мальчик, и Дуня не казнила судьбу за него, не замуровывала в душе пустое место. Её рука умела держать тяжёлый нож. С этого виднее было любить каждого, кто возьмёт нас да на белую, как ещё не исписанная бумага, сторону света выведет.

— Дядя мой, — сказала Таня, — Спиридон, по Нижнему ходит образцы в красильнях покупает. У фабрикантов там! Паром крутят. Ткань за час сделают как тут в воскресенье возиться.

— А зачем на меня смотришь, будто из-за Нижнего мне с порога засадят два осиновых кола под рёбра. Я ту красильню видела, там дорого положено, станки издалека, рабочие в длинных рядах. Хороший товар получается. Мы по другой цене берём. Бывает тебе нужен платок ядрёной сливы — не станет фабрика для одной дочери вашего судового предприятия задавать цвет. Сотнями брать заставит. У нас можем два. Ну да попробуй сперва дотащи ведро до стола, раз живёшь за папушкиным кошельком и знаешь, что паровое дело лучший на свете работник…

— Не знаю. Я спросила. Отец когда хочет сказать «нет», начинает «почему же это нет», а потом каверзно подводит к тому, что у него уже в башке: «ну уж это ты нет, стало быть». Дядя не так делает. Даст деньгу — иди, сама разбирайся.

Дуня усмешливо достала наследную манеру. Тёплое грушевое дерево посередине пересохло, пришлось смочить руки и дать доске десять минут полежать под отжатой губкой. Узелок материи так и остался на лавке. Она положила на свет кусочек ненужной холстины. Руку той приложила к деревянному пенёчку, показала, куда переставлять, чтобы не забежать следующим отпечатком на предыдущий. Девочка завела лицо набок, полуоткрыла от усердия рот и чуть не задела край. Появились два сереньких домика с едва заметным светлым пролётом — всё-таки глаз у неё был верный, при лодочном отце ничего удивительного.

— Первый к тебе, — сказала Дуня. — Унеси за сапогами. Или на стенку у себя повесь. Только руки отмоем, иначе твоя бабушка велит с утра не меня, а саму тебя от новой женщины возить.

— А вы не новая женщина? Вас в городе с тётей Марфой всё равно одной зовут. Горбунова — на верхней улице, Горбунова — на нижней. На ваш дом скажут «идти к Горбуновых за сараями». Я даже не знала, что фамилия у вас Таланова. Фамилия красивее. Стало быть, отталанить вели себя, какие есть. Будто кнутом.

— Хорошая у тебя возможность избить человека одной горячей мыслью. Впрочем, фамилия по мужу. В девках я была Малыгина.

— А отец к вам сватался?

— Очень я удручена отсутствием памяти по данному делу. Никаких свиданий и записок не передавали, брал с отцом Захаровым у нас полоскалки на борт за условленную сумму. Дело обыкновенное, не надо человеку за это венчального венца сразу покупать.

— Никто не просит. Я-то когда замуж пойду, скорее возьму такого, который мне вернёт чистое зеркало, если я умоюсь. А то батюшка на себя заглядывается в медный чайник, поджимает губы, не глянет ему за спину — стоят же живые люди. И так всё время моется, моется…

Дверь отворилась, показался голый, с надломленной щепкой обод и левое плечо Чиркова. Девочка только охнула.

— Спасибо первому доброму человеку, который тебя сегодня нашёл. Я с утра тыщу лет прожил.

— Вы же послали к себе бабку из птичника!

— Птичница шла к твоей бабке за ведром, а не за тобой. Так, бери своё платье, получим в кассе голову для отца, пойдём домашних благодарить, выслушаем всё, на что наше семейство в таком случае богато. Я её зачем по неделям в училище отправляю? Чтобы она соскальзывала между приставом и сапогами туда, где ей вздумается.

— Я к Евдокии пошла! У неё за печатью другое дело. Посмотри, как у меня ровно выходит!

Чирков посмотрел на детскую работу добросовестно, с тем давним выжидательным одобрением, которое бывают у людей, впервые увидевших, в какое маленькое окно какое большое пространство может заглянуть. Положил руку Тане на затылок, кивнул — но говорить с нею опять не стал.

— Повезло, что не пришлось с воды подбирать, — сказал он Дуне. — С меня теперь выкуп.

— С тебя, видать, скоро полгорода одними выкупами получат новую жизнь. Выше глаз левой щекой повернись.

На виске у него торчал мелкий речной песок в воде под коркой соли, весь ворот был забрызган, годовалые запонки свисали вниз, оторванная вместе с мясом нитка на запястье почернела, как чёрточка оспенной прививки.

— Погоди поверни голову. Волосами прилип. Ну вот. Можно мне зайти к вам и сказать, что я её просила прийти узнать, может ли твоя бабка оставить сапоги? По крайней мере от тебя половину воркотни это спасёт.

— Что же, одну неправду нас учат говорить, про то, как птичница так бережно держала за руку. Давай ещё другую заведём, которые у нас есть фамильные собачки. Представь, как доверие сызнова воспитывать, если каждый на твоей стороне пяткой по крайней доске стукнет. Большое спасибо. Знаю, Дуня, ты про добро своё не думала, а мне лучше от прямого разговора.

— А говоришь с ней как присутствующий человек, одинокий судья при канате. Раз она про тебя помнит, что на чайник свой смотреть ты сильно горазд и не видишь лица за чайником, может, и ей тоже про тебя что потребуется узнать. Ты меня этому правилу подпускать близких давно на один свой внутренний час научил.

Таня в это самое время весьма старательно промывала от пробы руки, мыло стреляло по сторонам. У неё нашлась живописная вторая рубашка в кармашке, сшитая самой девочкой; рукава такие, что где ни надень, будут всё равно справа-налево. Чирков сел на порожке и впервые, как показалось Дуне, увидеть был через неловко распахнувшиеся губы не в силах самого себя.

— Как же я её на реку пущу по просьбе, — сказал, — когда на переправе работаю тридцать лет и каждый год попадаются люди, которые смотрят во все четыре стороны мира, кроме своей. Вылизанность в доме у меня вовсе одна видимость. Посмотри-ка вот, какая черта на её лбу? Это она в три года на лошадь наткнулась. В три года, когда мы вдвоём с женой оба за ней приглядывали. Этой самой своей морщинкой весь дом у меня выбраться от беды может. А что я её, двенадцатилетнюю, вожу туда, куда давно одна дошла бы, так это потому, что я нанимать новую лошадь боюсь с тех пор. Лишь бы не под седло. Что ей всё это говорить?

— Про лошадь и скажи, — ответила Дуня. — И ты, может, услышишь, зачем ей сегодня понадобились сапоги. Моя тётка всю жизнь перед глазами ходила. По сей день ни черта мы с ней толком сказать не успели, а уж кто ей позволял за хлебом бегать, не достать.

Проводила их до мостков. Отец держал одну ручку от кованой корзинки, девочка — другую, сапоги в ней опрокинулись, словно и правда держали человеческие ступни, но потом найдено было дело ногам, они живые ушли налево по твёрдой земле.

А на окошке у Дуни остались лёгонькие жёлтые полоски от трёх мокрых пальцев: девочка, пока сушила свою пробу, выгнала из-под стёклышка огромную ночную бабочку, которая теперь сидела на манере и вздрагивала высокими, только что изнанкой вывёрнутыми крыльями. Уже и стемнело. Дуня потушила свет, чтобы та выбралась наружу сама.

Глава 5. Семь аршин

Наутро Дуня вынула лоскут. Он был перевязан двумя оборотами тёмной тесьмы. Под тесьмой лежал клочок вчетверо сложенной бумаги. Она отложила его, развернула кусок на длинной лавке, подставила к её концу маленький стол и всё равно последний край пришлось перекинуть через колено. Вот что покойница берегла. Никакого цельного рисунка. Один аршин тучек, один слезливых дождевых крючков, один кругов, похожих на кривоватые пустые колечки маленького сердца, один тёмной дорожки по кочкам с белыми звёздами, один домашней розы, один чистых окон и один вовсе безо всего, кроме пяти крошечных белых точек на жирном синем поле. На последнем куске ткань в одной точке протёрлась, да так заботливо зашита, что не сразу нащупаешь.

При здравом порядке печатник взял бы одинаковый рисунок от начала до сгиба, по левой стороне отметил тоненький пробел для будущего торца, завернул бы отрез в бумагу да так бы отдал. Прежде чем готовый ситец по частям продать, хороший торговый человек пропустит его под рукой и ещё сто раз приглядится, нет ли на нём косых полос. Тёткино наследство выглядело работой семи учеников, зарегистрировавшихся к красильному искуснику в один день. При мысли о том, что и она сама носилась два года по дому, еле научившись деревце с дорожками рисовать, и всякий её хоть однажды прилежно хвалил, Дуня сперва испытала неловкость, потом, однако же, подумала, чьи тут руки.

Вытянула из верхнего ящика старинный аршин, со стёртыми четырьмя вершками у головы; острое оловянное оковье у него отвалилось в кухонной плите вместе с рыбой больше десяти лет назад и тем дало начало поговорке «ещё аршин в щах лучше твоего Петровича». Приложила от угла до последнего отмеченного кромкой уголка. Ровнёхонько семь. На стыке белёной и печатной нитки у самого четырёхугольника розы торчала маленькая высохшая травинка, которую даже при окраске не вытряхнули. Длинными тонкими ногтями Дуня вытянула её на свет. Овёс. Где растили овёс на их улице, она помнила. До пожара Гликерия Бугрова нанимала на Петровой горке три гряды, там у неё росли нервные колоски в пять пальцев вышиной. Думалось, Гликерия гонит из них самогонку. А она носила в тюрьму брату лепёшки, которые научилась выпекать без запаха и соли, лишь бы конвоир позволил сунуть в руки. Один раз её услали в Шуйскую, за один раз — на два дня — досыта поел брат и написал весть, что пока живой.

Дуня покрутила бумажку. Лицо у ней запеклось от раннего солнца, моль грелась на базарном большом стекле, а ей уже полдня потеряли — сколько можно ждать. На бумаге были семь закорючек. С начала до конца.

«Марфа. Ксенья. Улитка. Устинья. Вася. Гл. Б. Клава».

Не семь накладных, никакой банковской тайнописи. Семь человек, собравшихся в давнишний день что-то сообща сделать: купить на всех кусок белого материала, испечь пироги, на большой день отслужить молебен, кто её теперь знает, эту женщину, когда она молчит ещё строже, чем при жизни. Только это обнаружение распутывало одну брошенную петлю в делах. Если Марфа себе в наследство спрятала тот самый отрез, на котором были отмечены работницы общей складчины, то сама тётка за свою собственность считала одну из семи долей. Устинья — кажется, упоминавшаяся мельком резчица; Клава — отважная Клавдия, кто-то раньше её за это имя в родне бил. У всех когда-то была живость в руках, просто одно остаётся, когда другое по чьей-то смерти мельчает.

Тётку Марфу, в особенности, не бывает возможно понимать на одном языке, когда после завтрака она меняет своё мнение до девяти раз.

Дуня протолкала нитку через прореху и принялась строчить. Каждую крупную нить на краю рисунка она подхватывала так, чтобы кромка не сместилась. Шить здесь, в тихой своей комнате, эту давнюю забытую дырочку ей нравилось, руки сами знали как.

Не успела зашить, как в окно постучали костяшками. С улицы открыла по-казённому сухой рот мать старого Дениса. Лет двенадцать уже не могла ходить и потому каждый божий день побиралась, красивая лицом старуха, у Арзамасовой церкви на нижнем взвозе, куда близ этого часа её спускала на тележке Аксинья или старшие из мальчишек, работавших при красильне. А тут вдруг в окно у Дуни просится с пустою чёрной по краям корзинкою.

— Коврижку хочешь, мать? — спросила Дуня нараспашку.

— Не гоже у себя самой брать милостыню. Нашу Митьку вот поставили с телегой под окном, он меня поднял. У меня деньги есть. На красильном посчитала, что мне возместить. Если не точно, ты мне лишнее отрежешь да ко мне в церковь за колокольню принесёшь обратно.

— До церкви далеко, Пелагея Митриевна. Вот сейчас дам тёплого однакомя, потом будем считать, кто у кого чего в долг.

— А как же ты будешь считать? В цифрах всю жизнь рисовала дырявую барку, потом ходила по сусекам за ободным столом дядьёвым, сиживала. Тут живые родные, у которых только что мать померла, ты у них лестницу потянешь. Подай-ка мне весь этот лоскут. Ты чисто поменьше разговаривай про другие дела, получше меня узнаешь.

— Тяжело тебе стоять-то.

— Меня Митька в салазках скамейкою подпёр. Ты о нём сокрушайся больше, чем обо мне, горбуна быстрее из него сделаешь, чем я. Ты выдели мне одну среднюю толку: у тебя что во втором квадратике снизу?

— Звёзды.

— Чего это они звёзды? Это девки пустыми вёдрами воду тащат с коромыслом. Переверните, застывшие в работе люди.

Дуня повиновалась. И вдруг тоненькие дорожки по синему переросли в две дуги, восемь раз по краю отреза — вправо, влево — и под каждой дугой стояли мелкие фигуры с кривыми бабьими ножками и выдающимися на затылке кокошниками. Сколько их там было, Дунькина прежняя жизнь не видала, и теперь уже не сосчитать.

— Кто это резала?

— Вот тут могла я тебе сказать «это моя лучшая работа» и умела бы я твоим смиренным смешком сытой от вашей руки уйти. Нет. Устинья составляла, не я. Сейчас её нет, мне известно про ту женщину одно дело: Дениске от неё подарок, два подлинных напёрстка сверху серебром украшенные, которые он потом вологодскому торговцу продал, чтобы выкупить меня от старой барыни. У тебя это было, а, не было? Они с Устиньей уже близко пожениться хотели, да она не захотела замуж. Сказала, лучше всю жизнь по-человечески держать в руке всё собственное, чем недвижимую комнату в доме мужа, где заодно стол, печка и четыре других бабы. А наш-то дурак не смог ей до старости простить. У другой женился, двое у них деток, воду носят с утра на переправу, возвращают с моста на водопой. И вот ходит теперь по двору, уверяет, что это Марфа его молодцу, бывшей его невесте, деньги оставила, а больше никто в той мастерской не мастер. Я ему говорю, да ты же с ней горе ел из одной деревянной плошки, хоть не перечь светлой памяти. Тот мне — куда я пойду теперь шестидесяти пяти лет, если всем нашим бабам выдать, что сами они там купчихи. Мои руки, говорит. А кто тебя, дурило, набивать учил, если ты до шестнадцати лет в жерновах с отцом с севера палец голый сидел считал?

— Ты мне зачем это про сына рассказываешь?

— Я за него просить пришла. Не виновата покойница Устинья, что мы ему так в мозги сунули эту блажь. Он ей не родня. Только есть её настоящая сестреница, в Костроме уже лет двадцать, продаёт пиво, зовут Екатериной Александровной Хорошей. Сын мой знает её адрес,

но тебе не скажет. Привык, что раз была до него невеста, значит, ему принадлежала и вся её доля. А эта вон, представь себе, которая ему самому никогда не верила, короб на свой личный счёт у них купила. Детей не оставила, сестра её тоже умерла. Вы с Надюхой когда всё продадите, лишь бы Ек. Александр. не обидели, если та скажет, кому отдать. А я от неё получала на медовые лепёшки прошлый раз к троицыну дню. Даже уж копейка, да своей тётки будет.

— Ты всю нашу кухню-то знаешь, не хуже моей покойницы.

— А как не знать. Тридцать лет за людей платки носила из одного дома в другой. Там десятку обещали и рубль дали, тут зазвонили «всё сам кто-то сделал, замечательная мастерская». Думаешь, Пелагея не видала ваших-то насквозь недоделанных припёков? Раньше муку давали работницам вместо казённой платы за полтора дня, а теперь за деньги на стол всем кладёте; это всё равно, на какую воду глядеть, когда тонешь.

Она положила в корзиночку кусок ситца, чтобы глянуть на него поближе. И, когда зрение перестало мучить блестевшее на изгибе полуденное солнце, белый острый ноготь старой вытянутой руки дотронулся до печатной фигурки.

— Ваша тётя Марфа приходила на паперть к нам однажды, ещё мне семидесяти не исполнилось. Села тоже милостыню просить. Карандаш, говорит, ты помнишь маленький, который я тебе давала у меня на крыльце помечать, который аршин с каких рук перешёл в общую кладь? Я сказала — помню, совсем огрызок, до воли не дорастёт. А она говорит — у меня, старуха, правое плечо стало плохо поворачиваться, ты меня за руку возьми и напиши, для Дуси моей. Какое надо слово, чтоб она поняла? Я спросила, что она хочет, и говорю ей, напиши имена. Семь. Чтобы ни к кому в дом в новый раз не шла за позволением про них самих узнать. Она же с детства их видела. А если один человек помер, ещё другой есть. Если все померли, письма от них сто лет на земле останутся, да из люльки первой выброшенную погремушку зачем-то хранят, и скалку, что покойный свёкор сам вывернул для хозяйства. Схоронишь — придёт Дунька и спасибо скажет, что дала дорогу.

В носу у Дуни защипало. Опять заказы, крошки, чья-то скидка, чужая сосредоточенная жизнь, и всё-таки оставили ей самое важное — добрый порядок для дорог, которые сама рисовала. Не дом, не аршин бумажного товара. Разыщешь людей, говорилось на бумажке. Две уже померли. Сколько времени уйдёт, чтобы остальные успели сказать до себя той, что печатала и рисовала для них всё это время рядом? Будет ли из этого толк, не знает и та, что составила при жизни в одном маленьком своём сапожном городе три различные карьеры — жены, помощницы и настоящей хозяйки. Не обязана была девка Дуня остаться, не могла ей столько судеб передать, будто это цена по описи. Но ежели решится сделать что своё и всё вдруг завертится, всё-таки это семь баб стояло у другого конца верёвки.

— Надо завернуть-то, пока дождём не взялось, — раздался из-за окна голос Митьки. — Бабушка, вы поговорили? Там люди через нас чего только не видят. А у нас, между прочим, в южном огороде под спину гусёнок провалился и теперь требует дождевика из собственного брата.

— Да, — сказала Пелагея. — Про остальное, Евдокия, ты у Улитки спроси. Она из наших самая справедливая. Правда, была хромая на язык. Может, за годы лучше натёрлась. Эти деньги мне посчитай, не забудь; насчитай, сколько купить надо кой-какого ситца простенького, чтоб на саван; белое с белым, понимаешь. От этих баб получается тёмная нитка по краю. Климат такой.

Дуня послушно взвесила в своей большой испачканной руке деньги. Четыре пятака, ещё медный грош от Батыги, побывавший в зашитых в передник карманах трёх поколений, полтинник, полученный позавчера весёлым червонным звоном от старого капитана, который и сам уже никак задом наперёд не мог попасть на речной пароход. Для старушки вышло бы из этих денег чуть побольше, чем для случайной покупательницы.

— Я вам, Пелагея, какую-нибудь белую птицу, снизу, чтобы не видно никому.

— Вот и дожила, Дуняшка. На тот свет с личным твоим детищем на подоле. Сейчас могу целые сутки не побираться, будто мне навсегда жалованье положили. Мить, кати в Большую, в Гранатную хочу. Левый мой бок держи крепче.

Дуня завернула старый отрез в выстиранную наволоку. Выглянула за окошко: по волнам к берегу подходил пароход, за ним тянулся широкий пенистый разрез. И, досмотрев, когда дойдёт до них волна, она впервые в жизни подумала не о стоимости такого хода, керосине, мякине на тюфячки, ссадинах от гвоздей обшивки, лихих судовладельцах и покупателях на летнюю очередь. Четыре рабочих стола. Одиннадцать женщин. Брат с сестрой имеют полное право получить от дела для себя то, что у них их жизнь потребует. Сорок семь рублей долгу с Алексея Львовича. Шестнадцать в собственной сберегательной кубышке. Зато если не всю артель разом переправить на новое место, а дать на этом самом месте каждому окончить начатое, хотя бы до Покрова…

Она сунула за пазуху бумажку со старушечьим обещанием и, ещё до того как пристанская колокольня пробила половину второго, вошла в контору к Александру. Брат ел руками вишню. Бумажные купюры у него на столе были слегка заляпаны: деньги и деньги, зато ягода в руке свежая и весёлая. По выражению его лица Дуня увидела, что какой-то важный разговор ждёт его в мыслях после обеда, не его собственного порядка, только спелее вишни бывает разве что слово, которое при тебе вот-вот главное произнесут.

— Хочу до Покрова без продажи земли поработать, — сказала она. — У тебя, у Нади — на честном найме. А там, Бог даст, принесём мы вам либо наёмную плату, либо покупщика, которому не надо продавать живые руки вместе с домом.

Глава 6. Платье цвета черёмухи

— Чего вы хотите, я понял, — сказал Александр. Когда он хотел, чтобы с ним считались как со своей отдельной конторой, он обращался на «вы» даже к служившему в детстве понуканием ласковой собачке Полкану. — Беспроцентно занять на четыре месяца помещение, которое в какой угодно субботний день мы можем отдать покупателю. С теми же успехами я могу выпустить на улицу двух мастеровых, запереть свой двор, продать, и к следующему году все члены почтенного семейства получат своё до последней копейки. А который не получит, так будет потому, что ему не надобно. Тебе, скажем, небеса ничего уже не оставили, кроме таланта по дереву водить и укушенных пальцев. Ты потерпишь.

— Потерплю, — сказала Дуня, — только на этот раз с тобой договоримся. Пока мне понадобится не вся наша красильня. Я возьму четыре стола, оба куба и сушню от пристани налево. Один дом пустой, пристанское крыло свободно. Часть причала отдадим на швартовку. Вчера приходил Семён Мурзин, конторщик при нижней ткацкой. Они бесплатно у нас всю зиму стоят, ещё при отце договорились, но его-то нижнюю половину отцовской пристани мы с марта держим нашими крестинами. Пускай с нас вытребует ту, свободную, Иванов день до Маковея. А верхнюю половину можно сейчас отдавать за плату. Они не откажутся, если пресвятую правду открыть, что самим теперь причал нужен до копейки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.